

Елена
СЧАСТЛИЦЕВА

г. Санкт-Петербург

У бабушки в деревне

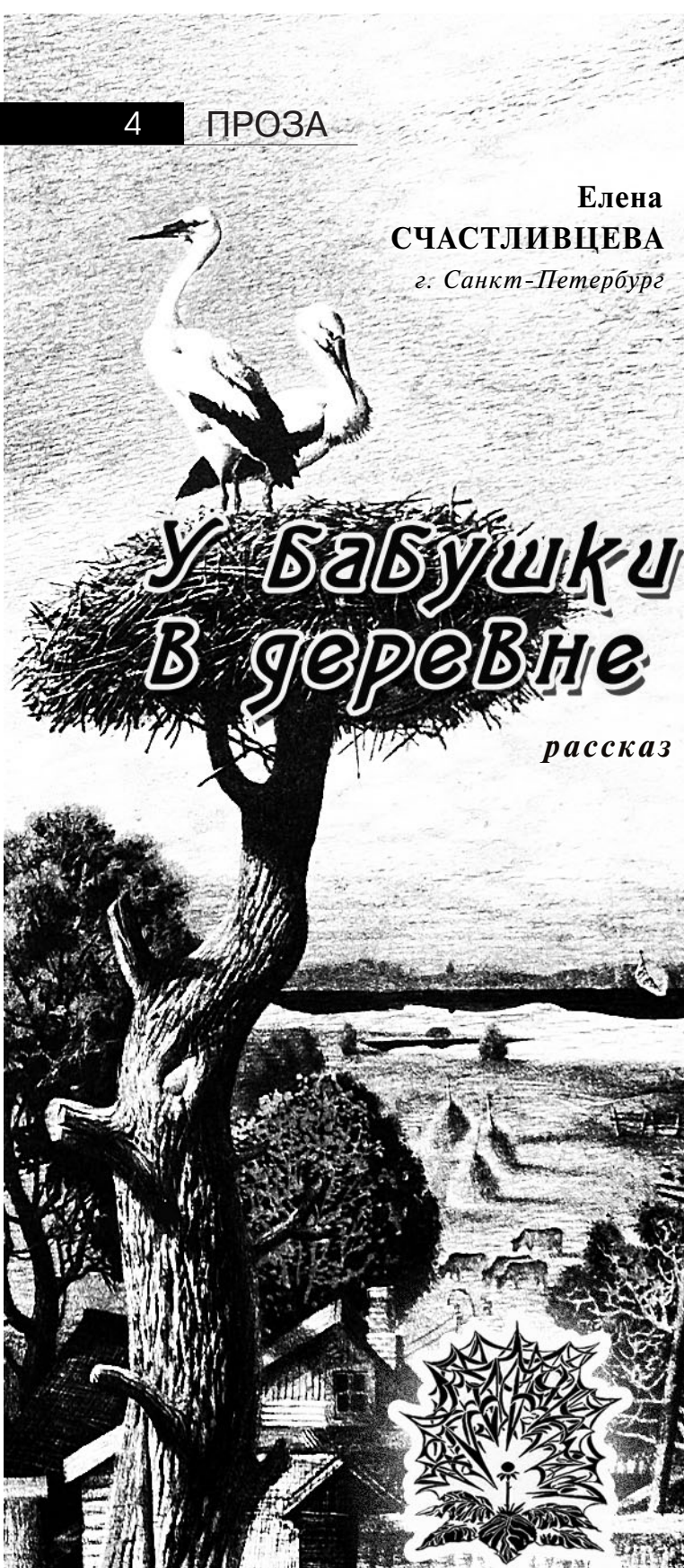
рассказ

Медленно подползала осень. Просто солнце, обходя деревню, с каждым днем опускалось все ниже и ниже, и длинные утренние тени лежали теперь почти до полудня. Со слабым шелестом под сухими солнечными лучами падали на пожухлую траву желтые и красные листья, а в пышных кронах яблонь пестрели круглые теплые яблоки. Разрушающие душную тишину дня редкие детские крики да беззаботный всплеск воды только усиливали чувство обреченной неустойчивости. Быстро наступал вечер, выползали сырые холодные тени, уходящее солнце вело послушную природу по годовому кругу.

Но лето все не отступало, и как затянувшаяся бессонница, изматывающий угар, каждый новый день бездушно жалил лучами омертвевшую землю. И вот однажды ночное небо, пересыпанное таким количеством ярких и крупных звезд, что некоторые из них слетали и безвестно гасли, затянулось низкими раздранными тучами. Они, сталкиваясь между собой, грохотали, раскалывая небо желтыми электрическими молниями, и вскоре набухшие небеса разрыдались дождем. Он шел три дня — слепой, монотонный... А когда иссяк, стало ясно: лето прошло.

Тогда уехали все, и последними — Маринкины двоюродные сестры. Они еще с утра принялись веселиться: скакать козами, гоготать и петь дурными голосами. Маринка бегала за ними и все то же повторяла, но как же ей было нестерпимо грустно! А когда девочки играли в прятки и водила местная Люська, когда Маринка выскакивала из своего убежища и летела через порыжевший луг и травинки жесткими метелками стегали загорелые икры, стучали по голенищам резиновых сапог, когда толстая невысокая Люська не могла догнать ее, отчего ей приходилось водить в четвертый раз, как тогда тоскливо было Маринке!.. Вот сейчас, еще скорее, чем мгновение назад, бабушка позовет их обедать, а затем тетя Вера с девочками уедут и Маринка останется одна.

Девочка спряталась за кустом сирени в заросшей канаве, прорытой вдоль реки. Когда-то здесь ждали немцев и перекопали весь берег, да так и не засыпали. Но немцы, слава богу, как и татары, сюда не сунулись. Впрочем, сюда боя-



лись соваться не только татары: за все лето один только раз, на Троицу, заехал из-за леса на своем тракторе Петя, но, погуляв изрядно, на обратном пути сшиб две сосны и, вылетев из кабины, проспал безмятежно под бледным северным небом до самого рассвета, обложившись при этом по уши.

Зато над деревней каждый день после полудня, отчаянно тарахтя, раскинув свои широкие и прямые, как бревна, крылья, низко пролетал четырехкрылый самолет, появляясь из-за леса, он за ним и исчезал, медленно и тяжело пролетев над деревней. А вечерами, как тихий ангел, парил над бабушкиным домом белый аист. Он, едва взмахивая большими крыльями, спускался, скользя по воздуху, к низкому противоположному берегу. Там, посреди поляны, высится остов дерева. Аист, поджав ногу и устроившись поудобнее на одной из его пологих ветвей, закрывает свои круглые черные глаза и засыпает.

Перед сном Маринка подходит к окну и подолгу смотрит на величавую красноногую птицу. Сейчас Маринка сидит в канаве и, обхватив коленки, смотрит на реку. В продолжение ее взгляда на дуге травинки раскачивается над бездной реки тонконогий паучок; сквозь заросли клевера и осоки, поднимающиеся выше глаз, проглядывает русло еще одной реки, огибающей поле со стогами.

И там, где одна река вбегает в другую, берег взмывает вверх так круто, что разорвался зеленый дерн, обнажив ржаво-красные песчаные скалы, подбросив к облакам лес, раскатав по бревнышку стоявшую здесь когда-то деревянную крепость. Во всяком случае, так говорила не только бабушка: что она была, эта крепость, и жили там, в домах с резными ставенками, люди, и в сумеречном хлеву мычала скотина, и скрипели ворота, и, стуча когтями по дощатым мостовым, бегали безродные шавки, кукарекали во дворах петухи, и поворачивался ворот колодца, и в деревянное ведро с плеском наливалась вода.

И, отпев в церкви покойника, грустная процессия, неслышно ступая лаптями, уходила на погост, чтобы навсегда упрятать его от глаз. И варилась хмельная брага, и прилюдно невесту целовал в уста жених, исколов ее зардевшиеся щеки пробивающейся ключьями молодой щетиной, — и все это поглотил мох, наглухо законопатив все щели в земле.

Но где еще угадывались очертания жилищ, кукушкины слезки роняли свои сухие круглые зернышки, папоротник, никогда не цветущий, корнями крошил уходящие вглубь камни, бровастые совы, хлопая желтыми глазами, прятались среди перевитых хмелем лап елей. Только и остались от той жизни, что бесформенная сипло дудевшая глиняная свистулька, найденная Маринкой в речном песке, да застрявший в ивняке после половодья остов маковки церкви, пущенной откуда-то в революционных 1920-х годах вниз по течению и нашедший в прибрежных кустах свое пристанище.

Кусок леса в этом месте назывался Городок, а люди ушли выше по реке, и их село было когда-то таким большим, что кто-то, упершись в землю крепче ногами в небеленых портах и раскинув что есть мочи руки, восхищенно выдохнул: «Селище!» И этот кто-то, глядя на дома в Маринкиной деревне, крепче которых не было на всем белом свете, то есть ни за десять верст, ни за двадцать, ни даже за сорок, потрясая кулачищами, радостно сказал: «Дворищи!»

Так и глядели друг на друга через реку Селище с Дворищами, укрытые спускавшимся с холмов лесом, и, казалось, не будет ему конца — как и не будет иной жизни. Но это обман, как трава над головой, и в ту другую жизнь уедут сегодня надоедливо радостные Маринкины сестры.

Маринка сама перевезет их через реку с плывущими по ее глади облаками, оставит челн у большого камня, пойдет с девочками вдоль реки по тропинке, у раскальвающихся от старости лип посадит сестер в рейсовый пазик, помашет, зачем-то улыбаясь, рукой: «До свидания, до следующего лета!» — а потом пойдет по той же тропинке обратно, но уже одна. А одна она потому, что родители ее отправили к бабушке на целый год, а сами уехали в Африку — строить дорогу.

— И зачем так далеко строить? — нередко ворчала бабушка. — У самих грязи по колено...

— Бабушка! — Маринку ужасала озвученная крамола. — Это же братская помощь!

— Да, братья у него (бабушкиного сына) в Африке сыскались!

Маринка переживала за политическую недальновидность родного человека.

Бабушка зовет всех обедать, Маринка выходит из своего убежища, так и не найденная. В доме окошко открыто еще по-летнему; ветер гонит прочь тюлевую занавеску, обнажая выцветшее небо, и солнце роняет на пол тусклые блики. Бабушка беспокоится, что простынет суп, захлопывает окошко; занавески, раздуваясь, бессильно опадают, волоча за собой по полу дырявые тени.

Суп этот, предмет бабушкиного беспокойства, в котором Маринка задумчиво водит ложкой, — всего лишь водица, где с белыми кубиками картошки и оранжевой морковки плавают бесцветные ошметки грибов. И где тот подосиновик с маленькой круглой шляпкой, что она нашла, раздвинув мокрую зеленую траву, когда утром, рано-рано, они шли через поляну в лес, сбивая с травы росу и оставляя за собой четыре вьющиеся яркие тропинки? Под глянцевыми от воды сапогами, шурша, путалась трава, и голос тети Веры звал откуда-то из чащи:

— Девочки! А-у-у, девочки!..

Глухо капала вода, стекая с иголок елей на земляничные кусты без ягод. Девочка задевала ветку — и сыпался на лицо и руки короткий холодный осенний дождь. Они долго бродили, не видя друг друга, аукались, а потом у огромного замшелого валуна, у разоренного опустевшего муравейника вдруг появилась тетя Вера и сказала, что всем пора домой. Туман таял; они уходили из леса, унося по тяжелой корзинке, и в нее падали листья, засохшие зонтики сняты и бубенчики горького чернобыльника.

Маринка целовала сестер — и всё: нет их. Осталось только легкое облачко пыли на дороге, но и оно быстро осело, как и затихло урчание пропавшего вдаль автобуса. Девочка побрела вдоль берега к лодке. Вот там, на другом берегу, зажатые рекой и лесом, отделенные от мира пургой, ледоставом и ледоходом, будут они жить вдвоем с бабушкой. И вся-то их деревня — три дома. На одном краю — она, на другом — Люська с родителями, а посередине — тетка Катя. Вот вам и Дворищи. А тут еще и школа новая.

— Класс у нас отличный, — говорила Люська, — шесть человек. Ты седьмая будешь.

Люська беспечно сосала травинку, а солнце, грея ее курносую моську, не позволяло отк-

рыть узкие синие глазки. И все же она их округлила как могла:

— Ты представляешь, Колька Тычинкин, сын директора, прямо ненормальный какой-то! Все время на меня смотрит! Надоел, хоть совсем в школу не ходи!

Девочки, размахивая корзинками, шагали по пестрой от опавших листьев тропинке; звучно чавкали их резиновые сапоги, с силой вырванные из грязи с пожелтевшими волосьями травы, и разлетался в белое крошево под Люськиной ногой жирный мухомор. Сквозь ошметинившуюся крапиву и отцветшую ломкую таволгу девочки пробирались к малиннику, к ярким бугристым ягодам в окружении поникшей зелени. Но от шелеста падали, стуча по листьям, в мокрую траву одна за другой отяжелевшие малинины, и смородина, цепляющаяся в тени деревьев огрубелыми корнями за разбитые фундаменты, повиснув прозрачными красными и черными каплями, расплзалась в руках остро-сладкой кашицей.

Девочки забирались на черемуху с буро-зелеными опадающими листьями и, ощущая во рту терпко-вязкий вкус перезревших ягод, бродили среди выстроившихся в геометрическом порядке корявых кленов и дубов. Обойдя круглый пруд, окаймленный кустами сирени и жасмина, оставляя позади остов дома с торчащими из проломов венецианских окон пучками бузины, усыпанной ядовито-красным горохом, они шли через поляну, изрытую кабанами, и спускались по расстрескавшимся ступеням в сложенный из глыб пустой погреб.

— У-у-у! — кричали они в гулком погребе, и чужим голосом из подземелья вторило эхо. Неслышно сыпался песок, и, шурша, медленно сползала в расщелину толстая глянцевочерная змея.

Но, когда голоса девочек угаснут, и станет тихо-тихо, навстречу плавно спускающемуся желтому или красному листу не сразу тяжело взлетит бабочка, и ветерок погонит по бездонным от черного ила разноцветные кораблики листьев, и вослед своей скользящей по траве тени пролетит птица, и сюда из чащи, хлопая грустными глазами, раздвигая голые ветви сучковатыми рогами, мягко ступая мохнатыми копытами, придет лось...

— Ну что, — сказала Люська, — пошли домой, новенькая!

Новый класс Маринке понравился. Он оказался, как и обещала Люська, маленький и дружный. Не «а», не «б», а просто 7-й класс — один-единственный.

— Здравствуйте, тетя Дуся! — Маринка стояла в дверях Люськиного дома.

— Здравствуй, доченька, здравствуй, — отвечала Люськина мать. А о цели визита она и так знала: просто так пришла.

Люська высунула из комнаты лукавую москву:

— Проходи скорей, сейчас кино будут показывать!

— А какое кино, а? — Маринка торопливо сбросила резиновые сапоги и повесила на гвоздь тощенькое пальто и платок.

— Да не знаю, — отвечала незримая Люська. — Девчонки говорили, что про любовь, а тут хрыч про уравнения какие-то рассказывает.

Маринка вошла в комнату, вежливо поздоровалась с Люськиной бабкой Анисой, тускло глядящей на решение дифференциальных уравнений второго порядка.

— Маринк, а Маринк! — кричала из кухни тетя Дуся. — Ты бы хоть чему мою дуру поучила! Эвон скоко двоек, а по географии и вовсе единицу принесла!

— А ну тебя, — смеясь, отмахнулась от матери Люська.

— Чем глазеть про любовь, лучше бы географию поучили. Я тебе говорю! — прикрикнула она на Люську. — Титьки-то во какие отрастила, и про любовь ей кино подавай! Маринушка, ты грамотная, отец с матерью в Африке живут... Научи ты мою девку географии! — Тетя Дуся уже рылась среди десятка книжек, стоящих на этажерке. Она, выгашив одну из них, медленно прочла: «География».

Все, любовь закончилась: началась «география», и она была вручена Маринке.

— Учись, родные, а я вам пирогов с топленкой принесу. Главное — питание, — наставляла она уже из кухни. — Без питания ничего не будет. Здоровья не будет, голова работать не будет...

Под грохот литейного цеха и лязг тракторных гусениц обещанного фильма «про любовь» тетя Дуся с шумом отодвинула заслонку

печи, достала ухватом еще горячий глиняный горшок и разлила по «бокалам», граненым стаканам, молоко — густое, розоватое, — да так, что в каждом из них сверху плавала коричневая плотная пенка. Она отрезала пахнущие теплым нутром русской печки румяные мягкие пироги: один — с морковкой, другой — с творогом.

После этого тетя Дуся, отдав девочкам молоко с пирогами, тем самым завершив процесс обучения, уселась за стол и подперла голову толстой красной ручищей. Она с отсутствующим видом жевала пирог, глядя поверх злополучной «Географии» на честные открытые лица рабочих и партактива, мелькающие на экране.

У Маринки даже руки вспотели от напряжения, но тетя Дуся слишком намаялась за день. Да и могла ли тетя Дуся вспомнить про географию, о которой знала куда меньше, чем ее развеселая дочь, когда у нее ломило все ее грузное тело? Как же она натопалась за день! Тетя Дуся, кряхтя, улеглась на застонавший диван и мгновенно уснула. Фильм закончился, тетя Дуся проснулась, а обещанная девочками любовь так и не случилась; видно, мешала она производственному процессу, отвлекала.

— Ну, я пойду, тетя Дуся, — нерешительно проговорила Маринка.

— Иди-иди, доченька.

— Пока! — радостно прокричала ей вслед Люська.

Маринка вышла на крыльцо. Холодно, сыро, а главное — темно, и никого кругом: для Люськи и тети Дуси она уже не существует, ушла! Только старая береза у крыльца устало шевелит паутинкой ветвей с редкими листьями и запутавшимися звездами. И вдруг из-за поленницы кто-то — «хр-р-р!!!», зачавкал и затих!

В ужасе девочка бросилась бежать к бабушке через всю деревню: пустырь и четыре дома, из которых только один жилой, тетки Кати, другие — дачи пустые. Заглянешь в те окна — почудится сквозь темноту лишь стенка, как в черепае, против зияющих глазниц, и отозваться некому: только выползшим из подпола с наступлением сумерек, с поворотом солнца на другую сторону земли, жирным крысам.

Из-под земли, из небытия они пролезут старыми лазами, прогрызут крепкими зубами но-

вые, торопливо пробегут, невидимые, в стене, упадут с потолка, заблестят электрическим взглядом из-за печки. Заколотишь старый лаз — лезут из нового; забьешь новый, но рядом уже слышишь настойчивый грызущий звук. И все они — ползущие, пищущие — хлынут в пустой дом, чтобы в темноте устроить шабаш, слепую возню, визг, топот, совокупления. И предметы покинут привычные места и полетят в тартарары или пропадут, рассыплются бесследно, перестанут существовать вещественно, будто их и не было вовсе, как та высохшая попка копченой колбаски на полке.

Маринка пролетела первый дом, следующий — тетки Кати, но и он пустой! Спит, видно, пьяная, за рекой в чьем-то хлеву, распустив по распаренному морщинистому лицу слюни, смешанные с умиленно-благодарными слезами за кров и чекушку.

А что, если из трубы, из остывшей печи вылетит в черное небо горящий снопок искр и посыплются раскаленные красные головни, бесы, черти, тени, и понесутся в желто-огненном облаке к высоко уплывшему месяцу? Кто там прячется за спиной? Кто бежит за девочкой от куста к кусту? Кто хихикает и блеет? Кто указывает на нее длинными корявыми пальцами с загнутыми ногтями, протягивая к ней неисчислимые шупальца?

Девочка чувствует их кожей: неведомых, невидимых, безмолвных, подчиняющих себе ее зрение и слух, разросшихся до самых небес. Вот сейчас, сейчас ее как схватит за локоть цепкая чешуйчатая лапа, и нечто, скалясь беззубым бездонным ртом, поволочет ее куда-то в черноту, освещая путь зеленоватыми глазами... И они ползут за нею, стелются, выются, несутся по небу, закрывая его перепончатыми крыльями летучих мышей, летят через реку к Городку, но не находят ни людей, ни их города. Все ушли в землю. Лишь бледные лунные тени елей и папоротника усилием ветра создают иллюзию движения да тяжело хлопают мохнатыми крыльями растревоженные совы.

И тогда бесы подбираются все ближе к девочке — волосатые, склизкие, липкие, многорукие, козлоногие, с хвостами, плавниками, с ножами и копьями в спинах, с головами монстров и детскими синюшными тельцами;

безглазые, многоликие, скрутившиеся в комок и кишасщие в нем, как черви, расплзающиеся и стекающие вновь так, что нельзя распознать, где начинается один урод и кончается другой.

Холодный воздух обжигал Марине горло с бешено колотившимся в нем сердцем, которое она боялась проглотить... Но тут перед девочкой явился тот, кого она чувствовала. Из темноты кустов проступил черт. Высокий, в мохнатой черной шапке, скрывающей рога, он сверкнул белками глубоко посаженных черных глаз и исчез. С лаем вывернулись откуда-то две собаки, и эхом отозвался им призрачный лай с Городка.

Прежде чем ворваться в теплую светлую избу и гаркнуть: «Бабушка!», Маринка грохнула калиткой, дверью дома, в крошечной темноте, боясь включить свет, оттого что на выключателе схватит ее руку наглая бесовская лапа, спотыкалась о ступени, опрокидывала пустые ведра в сенях, прошлась по будто специально выставленным по осени граблям.

Бабка в одиночестве чинно пила чай из блюдечка.

— Ну что? — спросила она, гоняя в беззубом рту кусочек сахара. — Убежала?

Засмуцавшись, девочка наклонилась за табуреткой, чтобы бабка не видела ее покрасневшие щеки, и села у печки. Теплая изба, затарахтевшая кошка, мягко прыгнувшая на колени, бабушка, прихлебывающая вприкуску с сахаром чай, тикающий будильник, лампочка, свешивающаяся с оклеенного пожелтевшей бумагой потолка, — все вмиг успокоило девочку, пока взгляд ее не остановился на черном окошке.

— Ба, — тараша на него глаза, спросила она. — А кто был там — на улице?

— Павлуха Катькин из тюрьмы пришел. Житья от него теперь не будет, зверя окаянного. Цыган он и есть цыган. Катькой нагулян от цыгана, потому и лицом черен. — И, пристально глядя во все расширяющиеся от ужаса глаза внучки, бабка наказывала: — Смотри, на глаза ему не попадайся, кобелю, — попортит. И с Люськой не больно дружи.

Бабушкины устрашающие рассказы, ее суровый, в кружевных оборках, Бог с указующим перстом; бесконечный ночной океан, накрывший одинокую избушку, поглотивший ее единственную лампочку черным полем, лесом, зияю-

щими проплешинами болот с тупой оглушающей тишиной, недостижимо далекая мама, отрывающаяся пустотой в животе неизвестность под кроватью — все это имело только одно зловещее имя: Павлуха.

И, ворочаясь в кровати, скрипя железными пружинами, смущая мерное бабкино посапывание, девочка думала до изнеможения только о нем: о его неуправляемой роковой страсти, заставившей ее то бежать через бесконечно заснеженное поле, то, пренебрегая автобусами и поездами, пробираться через лес в город, но непременно тайно, ночью. Но она и он знали: он достигнет ее, всегда, огромными шажищами, в поле, в лесу, у изгороди... Ноги ее, подкосившись, не слушаются... Он не оставит ее нигде, вот-вот схватит; он кроет землю за нею семимильными шагами, гремящими сапожищами... Он, протягивая бесконечно растущую лапищу, гнался за нею сквозь сон до самого утра.

Бабушка будила ее в школу. Маринка открыла глаза: что же такое ужасное с нею случилось?.. Ах, да — Павлуха! И она долго собиралась с духом, чтобы выйти на улицу. У спуска к лодкам на скамейке, нахолившись, сидела сердитая Люська, плюясь шелухой от семечек и ругаясь:

— Сколько можно ждать-то? Я замерзла совсем!

Маринка бросила беглый взгляд на лодки: тети Катина, а значит, и Павлухина — на противоположном берегу. Его в деревне нет. Но Павлухи не было и на второй день, и на третий... Он пропал целый месяц, но каждое утро девочка выходила из дома с холодеющим сердцем. Она забыла о нем только в день рождения ВЛКСМ: когда ученики с пятого по седьмой класс, то есть все двадцать человек, должны были ехать в райцентр — на смотр политической песни.

Напрасно Иван Григорьевич, учитель немецкого и географии, грозил карцером и кричал, что мест хватит всем. Люська, уверенно работая локтями, резво вскарабкалась в автобус, заняв самые замечательные места: за колесом, где трясет и веселее. Иван Григорьевич пересчитал прыгающих от нетерпения учеников по головам: двадцать. Все, вперед, поехали!

Уплыли назад и двухэтажная каменная школа с флигелчком, украшенным лепными кабаньими головами, охотничьими рожками, алебардами,

гербами; и притихший пруд, подернутый прозрачно-острым льдом; и старинный парк вокруг школы, где среди ветвей почерневших лип и кленов мелькали облупившиеся плакаты со стихами о комплексе ГТО.

Маринка не уследила, как осталась позади запыленная посветлевшая деревня; как вырос на горе и исчез сосновый бор с покосившейся изгородью с брусничными кочками, с выцветшими тряпочными и пластиковыми аляповатыми цветочками, голыми черничными кустами, железными дубовыми листьями и деревянными крестами. И только порозовевшая от снега и раннего захода песчаная дорога, утыканная по бокам марсианскими зонтиками борщевиков, тянулась сорок километров через бесконечный лес с проплешинами полей и болот к гладкому накапанному шоссе, связывающему две столицы.

Наконец автобус выбросило на асфальт, и он резво побежал мимо деревянных домов с черепичной крышей; мимо шербатой церкви, мимо двух- и даже трехэтажных домов со скромной казенной лепкой, чтобы потом остановиться у портика с тремя чахлыми колоннами — Дома культуры.

Дети, завалив сиденья портфелями, шапками, платками, в бело-красно-синей пионерской форме, рассыпались на сумеречно-сиреневой площади, освещаемой проносящимися машинами с яркими огнями.

Вестибюль Дома культуры оглушил Маринку: неоновые лампы горели, пионеры шумели, барабаны стучали, горны дудели... Потом какая-то девочка, нисколько не стесняясь, выбежала на середину зала и хорошо поставленным голосом, перекрикивая разноголосую толпу, задорно гаркнула:

— Отряды, равняйся! Смирно!

Забил барабан, возопил горн, внесли знамя. А когда после нескончаемо однообразных рапортов: «Такая-то дружина построена и такая-то тоже построена», — толстый лысый дядька по бумажке читал о перспективах развития района и всей области в целом. Маринка была потрясена: оказывается, не все так плохо кругом! И почему только бабушка ворчит, что были бы живы барин или Ленин, не было б такого безобразия?

Но если толстый дядька был невозмутим к нарастающему ребячьему гулу, то сменившая

его первая старушка-комсомолка даже утирала сухоньким кулачком слезы, оттого что молодежь не слушает ее наставления. И только когда радостная девочка закрыла линейку, уставшая от бездействия красно-бело-синяя толпа хлынула в зрительный зал.

Выступать Маринка не боялась. Ни тогда, когда Иван Григорьевич строил их всех парами: девочки — в красных косынках, мальчики — в картонных бескозырках и топорщащихся от краски пулеметных лентах; ни тогда, когда вышли на сцену, не защищенную от стольких глаз, скрытых в темноте. Они выстроились вдоль сцены. Задренькал задвинутый куда-то подальше рояль, и дети запели «в лицах».

— Дан приказ ему на запад, — сурово и мужественно басили мальчики.

— Ей в другую сторону... — то уже была партия девочек.

— Он пожал подружке руку... — Мальчики долго, так что болтались бескозырки, по-товарищески трясли руки девочкам. Затем, повернувшись всем корпусом, дружно заглядывали девочкам в глаза: — Глянул в девичье лицо...

А дальше случился конфуз, непредвиденные обстоятельства, то, что никак не рисовалось даже в самых мрачных фантазиях Ивана Григорьевича: от взглядов мальчишек девочки вмиг покраснели, в зале раздалось хихиканье, оно сделалось громче. На сцене дети как могли, совершенно независимо друг от друга, допели, договорили, профыркали его любимейшую песню, и рояль здесь был, в общем-то, совсем ни при чем.

Ну разве так Иван Григорьевич пел ее, сидя вечером после бани на крыльчке, мечтательно растягивая меха аккордеона? Как душа, парила песня над капустными грядками! Специальный приз «За массовость выступления» несколько утешил Ивана Григорьевича, хотя он понимал, что это, скорее, признание его былых фронтовых заслуг. Теперь надо еще собрать «хористов», а уж дома выпустить из автобуса, и пусть разбегаются к шутам...

Маринка сидела у открытых дверей на заднем сиденье пазика. Ночной воздух выстуживал и без того выстывший автобус, не жалея ни острые колени девочки, ни вечно красные запястья между короткими рукавами пальтишка и бесфор-

менными варежками. Почему-то не отправлялись, хотя дети были все в сборе.

Маринка видела, как через площадь к ним бежал высокий плечистый мужик. Он впрыгнул через заднюю дверь, и автобус поехал. То был Павлуха. Да, бандит и уголовник Павлуха. Девочка, запуганная бабкой, испустила глубокий вздох и опустила глаза. Но как бы она их ни опускала, ей некуда было укрыться; его темная фигура подминала ее, подчиняла себе крохотное пространство пазика. Маринка видела Павлуху боковым зрением, чувствовала его резкий запах курева и бензина. Казалось, протяни руку — и Павлуха дотронется до нее.

Девочка содрогнулась всем телом: до тошноты, до озноба. Она попыталась отгородиться от Павлухи, прижавшись к стеклу, цепляясь взглядом за редкие проплывающие избенки, освещенные изнутри ярким теплым светом; за притулившиеся к ним сиротливые сарайчики, баньки, клетки, за которыми в вымороженных пустых огородах, быть может, рыщут кабаны, разбивая бесовски раздвоенными копытами окаменевшую землю; возьятся, хрюкая, тупыми рылами в поисках сгнившей замороженной картошки и затерявшимися на огромной мохнатой морде глазками тупо глядят из темноты на прильнувшую к запотелому от частого дыхания окну девочку. Или то была лишь пугливая мышь?

Потом смотреть и думать стало вовсе не о чем: автобус свернул в лес, в глухой лаз, в нору, где переплелись, сваялись до непроницаемости кусты, деревья, бурелом, переходящие выше в беззвездное небо. Казалось, вот она, стена: черная, плотная, можно вслепую ощупать руками, но вновь и вновь автобус своим движением отодвигает ее, бесконечно растягивая, словно резиновый чулок...

— На! — Маринка вздрогнула, услышав низкий густой голос. — На, — твердо повторил Павлуха, протягивая ей промасленный кулек с пирожками.

Девочка удивилась:

— Это мне?

Павлуха усмехнулся:

— Тебе, тебе! — и, глядя на нее немигающим взглядом из-под нахлобученной шапки, добавил: — Проголодалась, небось?

Девочка неуверенно взяла кулек.

— Но-но, — активно запротестовал Павлуха, когда и Люська запустила в кулек свою пухленькую ручку. — И так развелась у матки.

— Сам хорош, — огрызнулась, жуя, Люська.

Павлуха молча уставился на девочек и, как бы очнувшись, принялся шарить по карманам штанов и ватника. Наконец он достал длинный леденец-карандаш и, помрачнев, бросил на Маринку свирепый взгляд.

— На, грызи. — Павлуха сунул девочке в руку конфету и ушел к водителю.

Вот это и случилось, а у Маринки от страха не разорвалось сердце, и она не провалилась в преисподнюю. Только почему он сразу ушел? Так далеко, в другой конец автобуса, и отвернулся к лобовому стеклу, к бело-желтому освещенному сектору дороги? Раза два Маринке показалось, что Павлуха слегка повернул в ее сторону голову; девочке даже показалось, что она слышит его голос, смешивающийся с монотонным урчанием мотора.

Сопит под боком мягко-пружинистая Люська, и нет людей ни здесь, ни за следующим поворотом; даже небо — и то пусто. А там, куда не доходит взгляд, среди частогокола плоских деревьев с ключьями снега, трухлявых пней, зарывшихся в сугробы; среди закоряченных болот с гнилыми зубами искореженных редких гладких стволов, ходят безмолвные звериные тени, оставляя в пухлом снегу глубокие следы, обрывающиеся там, где река перерезает лес. Саму реку пересекает высокий мост, по которому, грохоча сотнями колес, проезжают длинные поезда над своими ярко освещенными окнами, скользящими в черной блестящей реке.

В тихую погоду тридцать верст летит железный стук их колес к бабушкиному дому. И если лететь вслед за ним, опережая движение черно-текучей реки, подчиняясь всем ее изгибам, взмыть над холмами и снежными буграми сосен и елей, прорезая ночные туманы, падать в затененные овраги, где никак не может заснуть в снегу ослепший ручей, то скатишься к городу с куполами церквей, серебряными и голубыми, со звездами, устремленными в небо, тысячелетиями равнодушно-молчаливое, раздираемое одними лишь синоптическими явлениями. Когда-то весь этот водный путь охранял исчезнувший Городок.

— Приехали! — раздался голос Ивана Григорьевича.

Девочки открыли глаза: автобус разворачивался на площади перед магазином. Первым из него выпрыгнул Павлуха, но зашагал он почему-то не домой, к реке, а в глубь деревни. Девочки нехотя вывалились из теплого автобуса. Тот лягнул дверцами и уехал, лишь его красные лампочки еще долго дрожали в темноте, лишь от смертной скуки и тоски где-то выла собака, и ветер качал над закрытым на засов магазином лампочку в железной шляпке, и под ее ржавый скрип плясали тени на снегу, и огромные корявые липы безмолвно трясли черными гуттаперчевыми ветками в окружении каменных лабазов с коваными решетками, домиков с балкончиками и мезонинами — пустынных декораций давно ушедшей жизни.

И пока девочки, протаптывая за собой тропинку, шли по белому, обьятому двумя сливающимися реками лугу, они все еще слышали вой и скрежет, гоняющий неживые, послушные тени. Маринка нечаянно оглянулась: нет, никто не догонял их и не мят их следов.

— Маня, а-у-у, Маня! — донесся из-за реки голос бабушки.

— Мы тут, бабушка! — с готовностью крикнула девочка из темноты в темноту.

— Челн-то есть али нету? — беспокоилась старуха.

— Есть-есть, — визгливо отозвалась Люська.

Девочки подбежали к запорошенной лодке и проворно стащили ее на воду. Маринка уселась на корму с веслом, а Люська, чмокая сапогами, стаскивала лодку на воду.

— Маринк, глядь, кабы вас не снесло, — подвывала бабка.

— Грабь к берегу, — подросла неожиданно трезвая тетка Катя. — Я вас сейчас на своем челне свезу.

— Катя, куды ты? Не путай девок, — сердилась бабушка.

Маринка погружала весло в воду, раздавался всплеск, и лодка стремительно неслась вперед, перерезая водяные струи. И опять девочка погружала весло в непрозрачную, как Стикс, реку, в никуда. А что, если заденет она веслом нечто большое, движущееся, и медленно всплывет, как субмарина, из самой толщи

воды аллигатор, обливаясь черными потоками по бородавчатому и бугристому телу? Вдруг запенится, забурлит черная до вязкости вода, и всплывет он, приблизится к лодке с разинутой зубастой пастью, куда, кружась, будет падать крупный ноябрьский снег?

Но аллигатор что-то медлит и не всплывает, а лодка мягко врезается в прибрежный песок. Девочки выпрыгивают из нее, тетя Катя вытаскивает лодку за нос на берег, берет за штырь тяжелую гремучую цепь, прикрепленную к ней, и втыкает в песок.

Бабушка привычно запрочитала:

– Ой, да вы, поди, голодные совсем!

– Не, — хвасталась Люська. — Нас Павлуха пирожками накормил.

– Павлуха? — удивилась тетка Катя, так и не спросив, где он.

Вчетвером гуськом они поднимались к деревне. «Странно, — думала Маринка. — Почему Люська сказала, что и ее угостили? Она права? Жаль... Но почему жаль?»

Наутро бабка поднялась привычно рано, выпустила дрожжи и поставила опару. Придавленная ватным лоскутным одеялом, Маринка слушала сквозь угасающий сон шипение постного масла вокруг, это она знала совершенно точно, тонкого до прозрачности ноздреватого блина. Бабка переворачивала блин на одной сковородке, снимала готовый с другой.

Маринку пронзило ощущение неотвратимой близости чуда. Она спрыгнула с кровати и, пробежав босиком по полу, схватила масляный, обжигающий руки блин.

– Обрядись, стерва окаянная! — грозно обругала ее бабка за растрепанную косу и ночную рубашу.

Запахтел в темное окошко электрический чайник, оставляя на стекле мокрое тающее облачко. Бабушка заварила чай, поставила посреди стола горку теплых блинов. Маринка макала свернутый трубочкой блин в солонатовую подливку из растопленного масла и яйца, затем быстро несла к заранее открытому рту, чтобы не капнуть на стол драгоценно-вкусной желтой каплей. Она прихлебывала чай и возила блины то в черничном варенье, то в малиновом. Стопка на тарелке убывала.

Разомлевшая разгоряченная девочка надева-

ла затасканное пальтишко (новое бабка берегла для города), опускала по указу бабушки тонкие ножки с крепкими коленками в здоровенные валенки с галошами, укутывала голову теплым платком:

– До свидания, бабушка! — Девочка вышла в сени, отодвинула скрипучий засов, открыла дверь, вздохнула утренний холод — и ах! За ночь снегом завалило крыльцо, калитку, изгородь, а за нею — старую ель с коричнево-сиреневым чешуйчатым стволом, да так, что каждая ее тяжело отвисшая лапа превратилась в непроходимый лес с шишками. Завалило тихий бабушкин дом с желтыми прямоугольниками окон на синем снегу; дорожку, сбегавшую с горки к реке, где плавали сугробами на воде узкие долбленные лодки.

Как же хрупко было это чудо: дунь — и оно осыплется белыми звездами, а от жара заплачет прозрачными слезами. Но каждый новый день Маринка будет ожидать с замиранием, на вздохе. Она, томимая предчувствием необыкновенного и прекрасного, будет спешить в школу, а из школы — домой, к бабушке, любясь мягко подступающей зимой: когда горит посреди деревни единственный фонарь, а с сумеречных небес падает снег, пытаюсь засыпать желтый круг. Тогда душа девочки замирала, и Маринка любовалась и снегом, и столбом.

Через неделю она встретила Павлуху, и трепетная любовь к столбам и, как следствие, предчувствие чуда сменились страхом.

Маринка зашла на почту купить два стержня для шариковой авторучки, шесть тетрадок и стирательную резинку. На все эти школьные сокровища бабушка дала ей рубль и велела сдачу принести обратно. Маринка старательно топала на скрипучем деревянном крыльце почты, отряхивая сухой снег с мохнатых валенок, когда до нее донесся женский и мужской смех. Девочка открыла дверь: за прилавком сидела мурлыкающая Тамарка Плотникова. Павлуха стоял перед ней, фамильярно облокотившись на прилавок; он рассказывал нечто весьма и весьма игривое. Оба они были явно довольны друг другом.

Маринка скользнула взглядом сначала по его длинным мускулистым ногам, затем — по широкой спине: «Опять он!» — с испугом почти прошептала она, хотя видела его в третий раз. Павлуха глянул на нее, запнулся и замолчал; посмотре-

ла на Маринку и Тамарку, но не просто, а с любопытством. Девочка затворила за собой дверь и пустилась в нескончаемо долгий путь от двери до прилавка. Дошла. Она, напряженно склоняясь над портфелем, искала кошелек. Наконец нашла, открыла тонкими красными пальцами с чисто вымытыми розовыми ноготками. Все так же, не поднимая глаза, Маринка вытащила из тряпичного нутра кошелька врученный бабушкой и свернутый трубочкой рубль.

Но девочка знала, что Павлуха устался на ее руку, где под прозрачной кожей переплетались синие жилки. И вмиг движения, температура крови, биение сердца, дыхание — всё вышло из повиновения, сделалось неподвластно, и всё предавало ее. У Маринки горели щеки, подбородок и нос, казалось, даже уши под платком распухли от жара и вспотели. От стыда она была готова даже бежать прочь, забыв и бабушкины деньги, и все свои школьные сокровища, а Тамарка кидала мелкие взгляды то на нее, то на Павлуху.

— Спасибо, — прошептала девочка, по копейке собирая сдачу.

— Пожалуйста, — с ехидцей ответила Тамарка.

Повернувшись «кру-у-у-гом», Маринка деревянной походкой вышла на крыльцо. С почты доносился только Тамаркин голос. У девочки перехватило дыхание: «Я же покраснела, а они все видели! Нет, только не вспоминать об этом, только не вспоминать...» — в ужасе шептала она себе. Но весь оставшийся день она сотни раз краснела, протягивая руку с рублем, а душная жаркая волна стыда замирала на гребне.

А потом она видела его еще раз, и еще. В магазине, когда покупал папиросы и записывал их в карманы ватника, он полосонул Маринку глубоко посаженными черными глазами; он попался ей навстречу, когда она шла из школы, а потом и вовсе поселился у матери почти на целую неделю.

Павлуха, оставив, по сведениям бабушки, не то Райку, не то Верку, пришел к матери в деревню не один — с собаками. Всего собак было пять: Мальчик, Белка, Альый и сводные братья Дружок и Кутя: плюгавые, вертлявые, с абсолютно одинаковыми рожами — все-таки братья, невероятно похожие на свою мать Белку, только Белка — белая, Дружок — рыжий, а Кутя — черный. Но любимый пес один — Альый, щенок с примесью

крови овчарки. В третьем классе Маринка читала книжку — «Пограничный пес Альый» называлась. Наверно, Павлуха тоже ее читал...

Он выходил на крыльцо с мисками и звал: «Кыс-кыс-кыс!» — и являлись откуда-то сразу восемь или десять котов и кошек, и все восемь или десять смотрели то на миску, то на него. Прибегали и собаки.

И если Маринка проходила мимо дома тетки Кати, а Павлухи не было на крыльце, это означало, что сейчас скрипнет дверь и он непременно появится. С ужасом Маринка ожидала этого скрипа...

Он выходил перед домом; вокруг него вились собаки с кошками, и какая-нибудь из кошек сидела у него на руках и, мурлыкая, терлась башкой о его синеватую, гладко выбритую щеку, крепкую шею, залезала сопящим носом в отвисший ворот свитера.

Маринка, пробегая мимо с опущенными глазами, видела все до мельчайших деталей, слышала мурлыканье кошки, как чешется одна из собак, как чавкает другая, а главное — как дышит он... Но она не видела ни мутный взгляд чуть косящих глаз, ни шрам, рассекший бровь.

— Как дела, невеста?

Маринка остановилась, подняла взгляд, скользнула им по лицу Павлухи — вывороченным ноздрям, широко расставленным присмиревшим глазам, — по выбившимся из-под ушанки черным кудрявым космам, где полно было седых волос. Ей жалко стало его: такой большой — и уже седой!

— Сегодня в клубе картина хорошая, «Зубья дракона» называется. Пойдешь?

— Какой «пойдешь!» — закричала выросшая как из-под земли Маринкина бабка с палкой.

— Ай, я больше не буду! — Маринка, уворачиваясь от бабкиной палки, побежала к дому.

— Я тебе дам, блудница! — Старуха, грозно размахивая палкой, никак не могла поспеть за внучкой. — С кем гулять вздумала!

Павлуха долго и молча глядел, как с плачем убегала Маринка, пионерка-семиклассница — в большущих бабкиных валенках, надетых на тоненькие ножки в модных цветных колготках; как стегали эти ножки поземка и бабкина палка. Наконец он плюнул, громко выматерился и ушел: ушел к Райке со всеми своими собаками.

Дома бегать за внучкой старуха уже не могла. Она, едва переступив порог, тяжело опустилась на стул.

— Да что ж ты, гадина, меня позоришь? Отец вон какой умный, за границей работает. А ты? Глянь-ка, кавалера нашла! Да он же женат был, и дочка у него такая, как ты, осталась...

«Как «дочка»? — похолодела Маринка. — Он же не такой старый, как мой папа?»

— Ты что, бабушка, он старик! Ему, наверно, лет 30. — Она, стараясь не моргать, уставилась на бабку честными глазами.

— Больше, доченька: он отца твоего всего лишь на год младше.

— Ну вот, а мне — 13! Зачем ты меня, бабушка, всю излупила? Я, что ли, его в кино звала? — Маринка изобразила жалостливый взгляд.

Бабка оторопела от изумления, не зная, верить ей или нет.

— А чего кричала: «Я не буду больше?» — не сдавалась она.

Маринка окончательно совладала с собой, а бабка все еще кипятилась, но уж очень хотела убедиться в своей ошибке. И девочка помогла ей в этом:

— Кричала, чтобы бить перестала. Ну, сама посуди: он старый, в тюрьме сидел. Он же преступник!

— Сидел, дочка, сидел, — с жаром подхватила старуха. — Он по пьянке сидел... Скотина он животная: чуть до смерти не зарезал собутыльника своего.

Ну не могла она, никак не могла представить этого зверя, нелюдя, рядом со своей тоненькой внучкой; не могла, но мысли упорно возвращались к Павлухе.

— Да он тут не задержится, — сказала старуха, помолчав.

— Кто «он»? — спросила девочка, будто не понимая, о ком идет речь.

— Да Павлуха! В город уедет или на Север.

— Вместе с Райкой?

— А что ему Райка? У него таких Раек сотня была и еще сотня будет...

Маринка ждала, когда бабка замолчит; она вытащила из портфеля дневник, учебник по русскому, нашла заданное упражнение, вытащила папку с тетрадками, ручку. Она не верила бабке: ни одному ее слову. Все, что та говорила, не име-

ло никакого отношения к Павлухе, а все прекрасное, чистое и доброе, что было и в девочке, и в мире, — все явилось в образе большого деревенского мужика: «Он необыкновенный, добрый... Просто никто не знает о том. Нет, она никого еще не встречала добрее его, никого...»

А всего-то ела пирожки. Может, кто другой после тех же самых пирожков икал, клял судьбу и всю ночь шлепал босыми ногами на кухне в поисках соды...

Бабка ушла к плите и кастрюлям; они отвлекали ее, успокаивали.

Маринка издалека, чтобы не выдать себя, заглянула в зеркало: косы толстые, лучшие в классе, глаза некрупные, нос прямой, овал лица правильный. Но девочка не замечала ни блестящей, как шелк, челки, слегка закрывающей гладкий лоб, ни нежной бело-розовой, еще не испорченной жирными красными прыщами кожи, ни высоких скул, ни тонкой шеи, выглядывающей из кружевной стоечки школьного платья, ни красного отупоженного галстука, ни острых, беззащитных, как у цыпленка, лопаток, ни катышков свалывшейся шерсти на черном переднике, ни коротенького платьица. Ничего этого не замечала и не понимала тринадцатилетняя девочка, находящаяся на зыбкой грани между детством и юностью, вымыслом и реальностью. Ничегошеньки она не понимала, но продолжала пристально разглядывать себя. Красивая она или нет? Да, красивая, только неброская. Красота многообразна, только не каждый поймет это.

На следующий день Маринка встретила Райку: в грязном мятом пальто, цветастом платке, штопанных-перештопанных рейтузах с отвислыми коленками. Девочка внимательно рассматривала конопатую неряшливую бабу, недоумевая, что «такого» в ней нашел Павлуха. А ничего не подозревающая голосистая Райка визгливо сообщала что-то едва различимому вдали мужику; он ей отвечал, и оба они прекрасно понимали друг друга.

«Господи, у нее даже зубов сбоку нет. Как же он ее целует?» — думала девочка.

Нет, она не ревновала Павлуху к этой высокой и костлявой, напоминающей грабли, бабе. Она старая, Райка-то, и дети у нее есть, трое, и все — от разных мужиков, да и замужем она, хотя муж в тюрьме. То была не ревность —

любопытство. Что же «это» такое, о чем Маринка знает с восьми лет и что заставляет Павлуху бегать к страшной бабе? Та темная жизнь не была доступна для девочки, но и Райка не может быть ей соперницей.

Маринка полюбила оставаться одна: затаиться где-нибудь на печке, набить карманы школьного передника сушками или сухарями и по нескольку раз читать любимые книжки, а может быть, мечтать. Она, оторвавшись от книжки, думала об испепеляющей страсти испанского гранда маркиза Морелла. С печки она глядела в окошки напротив. Там, за кружевными занавесками, медленно падал снег. Зеркало между окошек отражало комнату, в которой Маринки не было.

«Интересно, — думала девочка, — если бы сейчас здесь оказался маркиз Морелла, кого бы я предпочла: его или Павлуху?» Ей представился маркиз в шляпе с перьями, с белоснежными кружевами на черном атласном камзоле, за спиною — плащ. Но маркиз стоял не то у клумбы с чахлыми бархатцами рядом с правлением совхоза, не то в лесу, заваленном снегом, и в руках держал не шпагу, а грабли. Или это Райка?

— У-у-у! — раздалось в лесу.

Кто это: маркиз? волки? Маринка почувствовала, что засыпает, и очнулась. В доме сделалось совсем темно, только окошки роняли на пол мертвенно-белый лунный свет.

— У-у-у! — Маринка представила большого зверя, одного в темном пустом лесу.

Когда волки выли слишком близко, Люськин отец выходил на крыльцо и стрелял в воздух. Так было и в этот раз: бабушка у них засиделась.

— Нет, я бы выбрала не маркиза, а Павлуху, — твердо решила Маринка, возвращаясь из дремоты.

Первое время старуха настороженно следила за внучкой, но Павлуха ни разу не заговорил с девочкой. Он здоровался, как со всеми, и шел своей дорогой, и бабка давно забыла о своем беспокойстве. Но Маринка сотни раз задавала себе вопрос: «Почему?» Ну почему он не разговаривает с нею? Почему всегда проходит мимо, но смотрит по-особенному?

Не додумалась она, что Павлуха пожалел ее, когда убегала от него, погоняемая бабкиной пал-

кой, все дальше и дальше: такая молоденькая, хрупкая. Впереди у нее — целая жизнь. А он — осетр; мужик с крепкими мозолистыми лапищами. И что он мог ей предложить?

Накануне 8 Марта Люська сидела за очередную провинность в карцере — чулане со швабрами рядом с учительской, и Маринка возвращалась из школы домой одна.

— Ну, здравствуй, — окликнул ее догнавший Павлуха.

Девочке показалось, что он ее подждал.

— Я тебя с Женским праздником поздравляю, — широко улыбаясь и обнажая крепкие ровные зубы, сказал Павлуха. Затем он вынул из-за пазухи куклу. — Играй, на тебя похожа! — Он повернулся и побежал.

— Спасибо! — крикнула вдогонку удивленная девочка. Павлуха, обернувшись на бегу, только помахал ей рукой.

Ну и зачем ей кукла? Она в куклы давно уже не играет. Как-то они с Люсей одели их в кружевные тряпки, навязали банты, построили дворцы и сады из картона, цветных стекол, искусственных цветов, а вот играть не смогли. Девочки рассмеялись и разломали все кукольное царство.

А Павлухина кукла и вправду была похожа на Маринку: в коричневом школьном платье, в белом переднике, в косичках — белые же бантики. Откуда он взял ее? У них в магазине такой нет. И где хранил, выбросив коробку, чтобы легче было спрятать? И опять девочке стало жаль Павлуху: старался порадовать, а подарил ненужную вещь.

Маринка засунула подарок в портфель и пошла домой. «Что с ней делать? — думала она дорогой. — Если бабушка увидит, начнет допытываться. Куда же ее деть?»

Девочка открыла сарай, залезла на чердак, где лежало сено для бабушкиных овец, зарыла в него куклу и очень довольная пошла домой.

— Смотри-ка, Маринушка, что я нашла! — сказала бабка на следующее утро: — Куклу, да какую красивую. В сене лежала.

Маринка замерла.

— Наверно, летом ребяташки затолкали, — предположила бабка, вытаскивая из волос куклы клочки сена. — Я на комод ее поставлю. Такая красивая, что прятать жалко.

Маринка с бабушкой заканчивали завтракать, когда в дом вошла тетка Катя.

— Ох, — воскликнула она с порога. — Откуда у тебя, баба, такая красивая кукла?

Маринка надулась и покраснела.

— Да вот ребята озорничали летом, в сено засунули; только сегодня нашла, — пояснила бабушка.

— Глянь, красота-то какая в избе, — восхищалась тетка Катя. — И мне такую надо. Скажу Павлухе, чтобы купил.

Теперь девочка беспрепятственно могла любоваться подарком. Кукла сидела на телевизоре и глядела на девочку, когда она ложилась спать, просыпалась; провожала ее в школу, встречала после занятий. Так шли недели.

«Скорей бы весна!» — думала девочка, когда снег от оттепелей и морозов стекленел, оседал и покрывался твердой, блестящей на солнце коркой; когда белыми пасмурными днями на снегу проступали желтоватые пятна талой воды; когда деревья с кончиков ветвей сбрасывали последний снег на продырявленные сугробы.

Но на смену зиме пришла тоскливая затяжная весна. Река разлилась, затопив бурными холодными водами топкие скользкие берега и голый прозрачный ивняк. Едва выросшая из мокрой раскисшей земли новая трава теперь, казалось, уснула и ждала, когда проглянет солнце и она потянется к нему — как и листья деревьев, и семена в рыхлых грядках, и цветы, расправляя при своем движении вверх холодные, плотно сжатые лепестки.

С севера ползли распухшие серые тучи, печально посыпая землю то снегом, то мелким дождем. Маринка, сидя в лодке, полоскала в реке белье. Она доставала его красными одеревенелыми руками из ведра, скрученное, еще теплое, с запахом хозяйственного мыла. Потом, подтянув рукава пальто, цепляясь онемевшими пальцами за белье, не видимое в мутной воде, она полоскала тряпку за тряпкой, чувствуя с каждым всплеском покрасневших до прозрачности рук, как река все жестче и жестче железным холодом сдавливает ее запястья.

— Маринка, а-у-у, Маринка! — кричала с противоположного берега Люськина мать. — Тебе письмо от родителей!

Маринка успела дополоскать все белье, ког-

да тетя Дуся тяжело вылезла из своей лодки на берег.

— На, доченька! — она передала ей конверт с неизвестными марками.

— Спасибо, — обрадовалась девочка и, повесив ведра с бельем на коромысло, что есть сил заспешила к бабушке. Ведра с бельем остались по обе стороны от тропинки, ведущей к дому, коромысло — поперек.

— Письмо, бабушка! — Она вбежала в дом.

— Ну, читай, — заулыбалась старуха.

Возбужденная Маринка разорвала конверт и начала читать: «Здравствуйте, дорогие! Наконец-то мы сможем забрать нашу девочку, работа заканчивается...»

«Как забрать? Куда забрать? Они что, скоро приедут? А Павлуха? Как?..»

Тут только девочка осознала, что жить ей здесь осталось не больше двух месяцев, что ничего больше не случится и она уедет насовсем.

— Ты чего остановилась? — удивилась бабка.

— Читай дальше!

Маринка приготовилась читать, вздохнула, но из глаз у нее выкатились две крупные слезинки, а затем — еще две, и еще.

— Ну, дурочка, так соскучилась у меня?

Маринка молча мотнула головой.

— Не плачь, доченька, это мне плакать надо.

— Старуха вытерла передником внучке нос и глаза, и девочке стало так жалко себя — до щекотания в носу... Она повалилась бабке на грудь и разрыдалась.

— Ну, будет, будет! — Она гладила внучку по спине. — Скоро уедешь, потерпи чуток.

«Бедная, бедная бабушка, — думала Маринка.

— Ну ничегошеньки она не понимает!» — И оттого плакала еще безутешнее. Но потом решила, что приезжать будет в деревню часто-часто, на все каникулы: весенние, осенние, летние... Он узнает, что она приехала, и уйдет от Райки.

Маринка успокоилась и принялась читать письмо дальше. Она читала о мамином африканском житье-бытье, а за окном блеяли тонконогие овцы и заунывно бряцали колокольчиками две коровы — Розка да Белка...

— Бабушка! — радостно закричала Маринка. — У нас будут машина и музыкальный комбайн!

Она дочитала письмо до конца, затем перечитала еще раз.

— Я к Люське зайду; расскажу ей про машину и музыкальный комбайн.

— Да-да, — отвечала довольная старуха, не понимающая, зачем ее сыну в городе собственный комбайн. — Иди да щавелью на суп нарви за Люськиным домом: там он крупный, сочный, — крикнула она вдогонку.

Девочке не терпелось выплеснуть свою радость. Она засунула ноги в резиновые сапоги и, не застегивая пальто, бросилась к Люськиному дому.

— Да, — раздался голос тети Дуси в ответ на стук в дверь. Маринка, переминаясь у дверей и сияя, смотрела на тетю Дусю.

В глубине кухни за обеденным столом, подперев толстыми руками седую коротко стриженную Люськой голову, сидела тетя Дуся. Она даже не повернулась к вошедшей Маринке: глядела на уходящую в лес дорогу.

Маринка стояла у порога, бессмысленно улыбаясь; тетя Дуся все молчала. Девочка почувствовала, как устали у нее мышцы, растягивающие рот в улыбку, и она непроизвольно постепенно превращалась в оскал.

— Пришла я, тетя Дусь... — Маринка ожидала расспросы про письмо.

— Люськи дома нету. Я скажу, что ты заходила.

Маринка молчала, с обидой осознав полное безразличие тети Дуси к ее письму.

— Ну, скажи, что я ей дурного сделала? — она повернула к Маринке красное, опухшее от слез лицо. Ее маленькая стриженная головка мелко задрожала на могучей шее.

— Кому? — изумилась девочка.

— Бабе, — тетя Дуся всхлипнула. — Бабе Анисе своей.

— А что случилось?

— Ушла она от меня, пока я на тот берег за хлебом бегала. — Тетя Дуся в сердцах утирала глаза мужицки толстыми кулаками. — Ушла баба, надела новые зеленые рейтузы, платье новое, жакетку плюшеву... Кошелек взяла, там у ей три рубля было.

— А куда ушла?

— Поди знай куда... Ей 89 лет.... И что ей в голову взбрело? Может, через лес на автобус пошла. Только куда ей в автобусе ехать-то? Люське велела до автобуса сбежать. Да как баба до него дойдет-то? Это ведь шесть километ-

ров! Она же меня перед людьми позорит! Люди подумают, я ее выгнала.

Маринка переминалась, стоя у порога, и чувствовала себя совершенно лишней. Особенно нелепым был бы сейчас ее рассказ в деревенской избе о японской электронике.

— Ведь, Маринушка, дом-то у меня — полна чаша. Муки у меня много, вермишель куплена, простая и яичная. — Тетя Дуся загибала крупные красные пальцы, перечисляя свои несметные сокровища. — Чего только у меня нет. Вон картошки полная яма закопана. Ешь — не хочу!

В дом вошла Люська — вошла одна.

— Нету ее нигде.

— Ну и хрен с ней, — разозлилась тетя Дуся на ушедшую, как Лев Толстой, бабу Анису.

— Пойду я, — робко сказала Маринка.

— Иди, деточка, иди, — согласилась тетя Дуся, так и не узнав про музыкальный комбайн.

Маринка рвала мясистый зеленый щавель на широком плоском лугу под низко нависшим серым небом. Дул ветер, перебирая чашую траву, и сыпал на нее мелкие лепестки с одинокой старой отцветающей черемухи. Девочка собралась уходить, встала и замерла: прямо навстречу ей шел Павлуха.

— Здорово, невеста! — крикнул он издали.

— Здравствуй! — девочка не успела смутиться.

Широкими шагами Павлуха почти подбежал к черемухе, резко сорвал с нее лист и принялся рвать его на куски. Он молча терзал лист и, глядя на девочку, хлопал длинными загнутыми ресницами. Вьющиеся черные волосы, торчащие из-под нахлобученной на лоб кепки, и добродушно-счастливая улыбка придавали ему сходство с теленком из мультфильма.

— Вот будет потеплее, я тебе раков наловлю, хочешь? — после некоторой паузы пообещал он, улыбаясь во весь свой широкий толстогубый рот.

— Зачем? — удивилась девочка.

— Варить и есть, — пояснил Павлуха. — Их тут много развелось.

Девочка ощутила свою власть над взрослым Павлухой: ведь от одного только ее слова зависит, ползет он в воду или нет. Это было приятно.

— Хочу! — Но ей нужны были не раки.

— Ну, как дела? — спросил он, не переставая улыбаться.

— Вот, родители письмо прислали. — Маринка захотела рассказать о машине...

— Уезжаешь, — помрачнел Павлуха.

— Да нет, не скоро еще: только в начале июля, — оправдывалась девочка.

— Уезжаешь... — и угрюмо добавил: — У тебя все будет хорошо.

— Что хорошо-то? Что? — Маринка не предполагала, что Павлуха знает про ее алгебру.

— Все, все будет хорошо... — он рассеянно забегал глазами, резко отвернулся от девочки, подбежал к черемухе, стал сердито ломать ее ветви с белыми осыпавшимися цветами, а лепестки, вертясь с последним острым крупитчатым снегом, падали на девочку.

— На! — Павлуха, держа букет крепко, помужски, как флаг, вручил его девочке и ушел, не оглядываясь.

И она осталась одна на лугу с неестественно огромным букетом наполовину осыпавшейся черемухи, который так и не сможет донести до дома.

А может, он и любил ее за то, что у нее все еще будет, и будет хорошо?

Купаться не хотелось совсем. Весь день они то, разбежавшись, прыгали с берега в речку, то уходили вдоль берега вверх по течению и вылезали из воды далеко за деревней, или лежали на песчаном теплом мелководье вместе со стайками мальков. Купались так много, что к вечеру некоторым даже стало холодно, и многочисленная приехавшая на лето детвора собиралась у скамейки на высоком берегу. Те, кому не хватило места, сидели на траве, болтали, играли в карты.

На противоположном берегу невидимые бабы, матерясь, перекинулись из огорода в огород; материлось и эхо. Но бабы замолчат, полив свои грядки; замолчит и двухголосое эхо.

Солнце утихнет, река замедлит свой бег, и с ее глади засияет небо, стремительно разбиваемое жаркими грудками беспечно порхающих ласточек. Но, не обращая внимания на птичий гомон, в лесу тихо ходили звери, и медведица повела своих медвежат к ручью, где упавшую ель поглотили крапива и черемуха с гроздьями черных ягод; где была деревянная крепость, где прячется филин и живет неведомая птица Никита-сокол.

*Никита-сокол,
Подай топор,
Я девку — тюк!..*

Маринка, сидя на скамейке, смотрела, как, возвращаясь с работы, шагал Павлуха, как переплывался на лодке к ним через реку, шел домой и возвращался на берег с куском хозяйственного мыла, огромной истерзанной пенковой мочалкой, вафельным полотенцем, раздевался до веселенькой расцветки трусов — небывалых длины и ширины. Он, стоя по колено, то есть по край трусов, в воде, свирепо и упорно тер мочалкой свое бронзовое жилистое тело. Потом, кинув мыло и мочалку на траву и все так же стоя в воде, широко раскинув сильные руки, всем телом плюхался в воду и, бултыхаясь, плыл вдоль берега. После этого вставал, поправлял съехавшие донельзя и облепившие крепкие ноги трусищи, нырял и уже выскакивал на середине реки, фыркающая и мотая головой, как речной зверь.

Но сегодня суббота, и Павлуха не купался, а парился в бане у себя за огородом. Потом, как всегда, надев парадную ярко-зеленую рубаху, сидел один в избе, играя нехитрые мелодии на гармошке, а Дружок ему подвывал.

Но вот Дружок закончил домашнее музицирование и начал возиться с другими шавками на улице. А из избы на деревню всей своей исполинской мощью обрушился Вагнер: значит, Павлуха включил радио и пошел в огород или на рыбалку, как будто завтра ничего не случится и ее не заберут родители.

— Я сейчас! — она побежала, надеясь встретить Павлуху.

Маринка столкнулась с ним у самого бабушкиного дома. Тяжело ступая, Павлуха шел ей навстречу.

— Уезжаешь, значит... — кинул он, не здороваясь.

— Да.

— А когда? Вечером или утром?

— Днем.

— Жаль, — Павлуха глядел в упор на девочку. —

Мы завтра молоко увозим, вернемся к вечеру.

— А куда?

— Да далеко, к Москве.

— Мы тоже туда едем, — обрадовалась Маринка. — Может, встретимся?

— Может! — Павлуха неуклюже улыбнулся. — Ну, пока! Не забывай нас, приезжай еще.

— До свидания! — Маринка слышала грохот удаляющихся сапог.

Сладкий запах клубники, разогретой на грядках, смешивался с ароматом дымчато-желтых цветущих лип...

Она еще сходила пару раз за водой, но его больше так и не встретила. Ночью решила не спать и плакать; она даже вспомнила про куклу, Павлухин подарок на женский праздник. Валяется она в огороде, между свекольными грядками, один глаз у нее выковырян, волосы всклокочены, платье чужое да драное. Это все глупые малолетние сестренки с племянницами! Девочка вспомнила, как дарил он ее, как в простодушной улыбке расплылся его большой рот, и заплакала, слезы потекли по шее за одеяло, на подушку, забрались в уши. Но она уснула и спала без снов.

Утром Маринка, еще надеясь, что что-то произойдет, побежала к Люськиной матери за молоком, но Павлуха успел переправиться на другой берег и шел, не оглядываясь, то скрываясь за деревьями, то появляясь вновь; шагал, не зная, что на него неотрывно смотрит девочка. Он казался все меньше и меньше...

Павлуха молча пересечет всю деревню, сядет в раздолбанный рычащий грузовик, заберет на ферме дребезжащие бидоны с молоком, чтобы

везти их по искореженной рытвинами и ухабами песчаной дороге.

А несколько часов спустя в новенькой, сверкающей, как елочная игрушка, машине девочка ехала следом, но к Черному морю.

Утреннее солнце плескалось в банке с молоком, в липах пена цветов и листьев гудела пчелами.

На обратном пути Маринка в деревню неехала. Она не была там и на следующее лето: причина забылась...

Теперь нет уже ни бабушки, ни деревни, и о себе самой, подростке, она думает «она».

□

Елена Робертовна СЧАСТЛИВЦЕВА

родилась в Москве,

окончила Ленинградский механический институт.

Пишет прозу.

Публиковалась в литературных журналах Санкт-Петербурга,

в журнале «Север»,

а также в альманахе «Листая свет и тени» (2015 г.).

Лауреат литературного конкурса им. В.Г. Короленко

Санкт-Петербургского союза литераторов (2014 г.).

Живет в г. Санкт-Петербурге.

